# Портрет моей матери

***Нехай маты усмехнётся,
Заплакана маты.
Шевченко
Она подымается на пятый этаж,
Мелкая старушка с горькими слезами.
Лестница та же, и дверь всё та ж…
Но как волнуется! Точно экзамен.
Прыгают губы. Под сердцем нудит.
За дверью глухо звучит пианино.
С медной таблички бесстрастно глядит
Чужая жизнь родного сына.
Здесь кухня в шутку зовётся «лог»,
«Рыцарской залой» – столовая,
Послеобеденный чай – файф-о-клок
(Кто его знает, что за слово?)
И всё это комнатное арго
Полно игнорирующего уюта.
Она себя чувствует здесь каргой,
Севшей на шкаф и взирающей люто.
Но наконец нажимает звонок.
Его холодок остаётся на пальцах.
Слушает… Вот! Это стук его ног.
Да-да. Это он. Её мальчик.
В последний раз поправляет платок…
На лестницу бурно вырвался Штраус.
Я ей улыбаюсь, снимаю пальто,
Чмокаю в щёку. Стараюсь.
Она так мизерна. Может быть, я
Слишком басю? Я дьявольски кроток.
Это лучшие миги её бытия,
Она на минуту чувствует отдых.
И вместе с убогой лысой лисой
С души стекают ледовые оползни.
Её вековечное лицо
Опять становится симферопольским.
И слушаю этот милый слог,
И крымский пейзаж оживает снова…
Как в зимнем сене сухой василёк,
В речи попадается татарское слово.
Но вдруг исчезают «сенап» и «шашла»,
Лицо старушки сведено драмой:
Слышится внучкин голос: «Мама!
Чёрненькая бабушка пришла».
И входит жена, и зовёт пить чай.
И мы неестественно выходим из комнаты.
Старушка идёт, как сама печаль,
А мы с женой, как виновные в чём-то…
И к «чёрненькой бабушке» из-за стола
Розовая тёща встаёт и кланяется,
Подчерица вскакивает, как стрела,
Вспрыгивает женина племянница.
И каждый считает, что он не прав.
И все выстраиваются по линии,
Как будто в воздухе летят Эринии,
Богини материнских прав.
Но гранд-парада почётный строй
Старушка встречает горькой усмешкой:
Она себя чувствует здесь турой,
Стиснутой королевой и пешками.
Корни обиды глубоко вросли.
Сыновий лик осквернён отныне,
Как иудейский Иерусалим,
Ставший вдруг христианской святыней.
А что ей почёт? Это так… По годам.
От победителей нет признанья.
Она лишь попавшая к господам
Ихнего сына старая няня…
И дымная трудовая рука
В когтях и мозолях – рука вороны –
Делает к сахару два рывка
И вдруг становится как бы варёной,
Как пронзённой мильонами глаз…
И так ей муторно, как от болести,
Точно рука у неё зажглась
Огненной казнью на Лобном месте.
И всё молчит. То ли тема узка,
То ли напротив: миф для трагедии.
Берёт она два небольших куска,
Хотя ей очень хочется третий.
И я с раздраженьем хватаю ещё
И, улыбаясь, кладу в её чашку.
«К чему?» Она поднимает плечо –
И всем становится тяжко.
Потом жена её снова зовёт,
Уложит, укроет оленьей шубой.
И снится ей, что она живёт
Вместе с сыном в таврической глуби;
Что нет у него ни жены, ни детей.
Она в чулке бережёт его тыщи…
К чему? Зачем? Неизвестно и ей.
Просто так. Для духовной пищи.
Потом очнётся, как от вина,
Вздохнёт, отлежится и скажет сторожко:
«Дал бы, сынок, сахарку старушке,
Но только пускай не знает она».
И я, подмигнув, забираюсь в «лог»
И зазываю жену из «зала»:
«Дай-ка, рыжик, для мамы кулёк,
Но так, чтобы ты, понимаешь, не знала!»
И мать уходит. Держась за карниз,
Бережно ставя ноги друг к дружке,
Шажок за шажком ковыляет вниз,
Вся деревянненькая, как игрушка,
Кутая сахар в заштопанный плед,
Вся истекая убогою ранкой,
Прокуренный чадом кухонных лет,
Старый, изуродованный жизнью ангел.
И мать уходит. И мгла клубится.
От верхней лампочки дома темно.
Как чёрная совесть отцеубийцы,
Гигантская тень восстала за мной.
А мать уходит. Горбатым жуком
В страшную пропасть этажной громады,
Как в прах. Как в гроб. Шажок за шажком.
Моя дорогая. Заплакана маты…***